

ИСКУССТВО ВЛАСТИ

Сборник в честь
профессора Н. А. Хачатурян

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2007

УДК 32
ББК 66.0
И86

Ответственный редактор издания
О. В. Дмитриева

Рецензенты:
доктор исторических наук *В. И. Уколова*,
кандидат исторических наук *И. С. Пичугина*

Искусство власти. Сборник в честь профессора Н. А. Хачатурян. — И86 СПб. : Алетейя, 2007. — 512 с. — (Серия «Библиотека Средних веков»).

ISBN 978-5-903354-14-6

В юбилейный сборник в честь профессора МГУ Н. А. Хачатурян, видного специалиста в области политической, социальной и институциональной истории средневековой Франции, вошли работы российских ученых, представляющие различные научные школы и исследовательские центры. Их статьи отражают современный уровень исследований и актуальные подходы к изучению феномена власти в его историческом развитии. В сборнике затрагиваются вопросы специфического символического языка власти, пространства ритуала, формируемого ею, образам власти и способам ее репрезентации. Ряд статей посвящен трансформации форм власти и способов реализации потестарных отношений в обществе, а также политическим технологиям и реальной политике в конкретно-исторических обстоятельствах.

Сборник предназначенся историкам, искусствоведам, культурологам и всем интересующимся историей политической культуры Средневековья и Раннего Нового времени.

УДК 32
ББК 66.0

ISBN 978-5-903354-14-6



9 785903 354146

© Коллектив авторов, 2007
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2007
© «Алетейя. Историческая книга», 2007

И. ВЛАСТЬ В ПОИСКАХ ИДЕНТИЧНОСТИ

М. А. Бойцов

В ШКУРАХ ИЛИ В ПУРПУРЕ? К ОБЛИКУ ВАРВАРСКИХ КОРОЛЕЙ ВРЕМЕН «ПАДЕНИЯ» РИМСКОЙ ИМПЕРИИ¹

Любые отношения власти не только *оформляются*, но и *реализуются* при помощи символических систем. Символические системы, реализующие отношения власти, могут быть и очень сложными, и сравнительно простыми. Даже среди самых примитивных трудно будет, пожалуй, найти такую, в которой смысловую нагрузку ни приобретало бы тело правителя: его лицо, стать, жесты и позы. Однако при всей семиотичности телесной стати государя уж никак не меньшая знаковая роль всегда принадлежала, как известно, ее «искусственному обрамлению» — прежде всего одеяниям власти, знакам его власти, антуражу, в котором он предстает перед подданными и проч. В развитых обществах монархического склада «символическое тело» государя может «расширяться» далеко за пределы его тела физического и распространять себя едва ли не до самых дальних рубежей державы. Ведь продолжением символического тела монарха служат не только, скажем, блистательные одеяния членов его свиты, его собственный парадный экипаж или флагманский корабль, но дворцы и иные резиденции, святилища для отправления «государственных» культов и пространства для политических празднеств, репрезентативные общественные здания, улицы, площади и целые города, не говоря уже о таких «мелочах», как изображения государя — неважно, двухмерные ли (например, на армейских знаменах, официальных портретах, одеяниях сановников, монетах и оттисках печатей) или же трехмерные (статуи и рельефы на улицах, площадях, в святилищах и общественных зданиях, бюсты в служебных и частных помещениях).

Давно уже пора отказаться от априорной убежденности в том, что символическая сторона власти второстепенна, дополнительна, малозначима по сравнению с иными, более «солидными», а потому

¹ Статья подготовлена при поддержке Фонда им. Александра фон Гумбольдта.

и более заслуживающими внимания историков ее основаниями, например институциональными. Конечно, на вопрос о соотношении символического и институционального нет простого ответа: как и во многих иных случаях, видимое преобладание того или иного фактора в прошлом задается углом зрения, который историк по тем или иным причинам предпочитает выбрать в настоящем. Тем не менее обращение именно к символической стороне власти «варварских королей» оправдано сейчас уже хотя бы тем простым обстоятельством, что она хуже известна. Если об институциональных структурах постримских политических образований дискуссии ведутся по крайней мере века с XVIII, что выразилось в сотнях монографий и бесчисленных статьях, то о символических основаниях власти «варварских королей» мы сравнительно мало что знаем. Разумеется, и данное исследовательское поле отнюдь не представляет собой целины: наряду с отдельными старыми трудами эрудитского толка за последние десятилетия вышло немало работ, в той или иной степени затрагивающих именно «наши» сюжеты. Однако хотя число таких публикаций постоянно нарастает, очевидно, что данная тема пока не только не исчерпана, но даже не вполне обрисована.

Получая представление о символических системах, в которых власть предъявляет (а значит, и реализует) себя в том или ином обществе, мы постигаем и самые существенные характеристики этой власти, и механизм ее функционирования. Процесс возникновения символических систем идентичен процессу становления власти, и, разбираясь в первом, мы лучше понимаем и второе.

Символические системы классического и позднего европейского Средневековья до сих пор изучены явно недостаточно, тем не менее, благодаря усилиям многих ученых, некоторое представление о них уже можно получить. Правда, линии «генетической» преемственности здесь редко прослеживаются историками глубже 800 г. — года коронации Карла Великого в Риме или же 751 г. — года помазания Пипина Короткого. Конечно, ни в коем случае нельзя сказать, что все, предшествовавшее этим датам, покрыто полным мраком: напротив, множество интереснейших деталей было уже выявлено и описано историками. Однако детали эти до сих пор предъявляются читателям разбросанными по десяткам не связанных друг с другом трудов, и в таком виде они не дают возможности формулировать сколько-нибудь общие проблемы. Именно поэтому на вопросы о генезисе средневековых символических систем даются историками по большей части весьма туманные ответы, в которых обычно бегло указывается через запятую на «германские» (или «варварские»), «позднеантичные», «христианские» и «византийские» их корни — без выявления того, какие из этих «корней» оказались важнее. Разумеется, туманность

этой позиции во многом определена скудостью источниковой базы, но еще важнее, думается, то обстоятельство, что историкам, разделенным цеховыми межами на разные профессиональные группы (античники, медиевисты, русисты, слависты, византинисты, востоковеды...), трудно выработать общий взгляд на занимающий нас здесь предмет.

Интерес к облику повелителей варварских королевств, возникших в V—VI вв. в западной части Римской империи, представляет собой не что иное, как интерес к основаниям, на которых они свою власть выстраивали, притом основаниям не только символическим, но и общекультурным. В конечном счете речь идет о вечной и всеобъемлющей научной проблеме взаимодействия позднеримских и варварско-германских начал на рубеже античности и Средневековья — том самом взаимодействии, которое в отечественной историографической традиции принято обозначать словом «синтез» и рассматривать преимущественно через призму социально-экономических или политико-правовых явлений.

Проблема, в решение которой должна внести свой скромный вклад настоящая статья, можно сформулировать в виде альтернативного вопроса: подчинила ли символическая система поздней империи сознание варварских государей, заставив их моделировать «облик» своей власти по римским образцам, или же, напротив, варвары принесли из оставленных ими лесов и степей свои символические модели, собственные образцы, которые они затем и насадили в подчинившихся им областях империи, навязав их покоренному римскому населению?

* * *

Пожалуй, лучшим аргументом в пользу второго предположения может послужить рассказ ратора, чиновника и историка Приска (ок. 420—474), сопровождавшего в 449 г. сановника Максимиана, посланца императора Феодосия II, в ставку гуннского короля Атилы (434—453)¹. Резиденция Атилы представляла собой, согласно Приску, комплекс деревянных зданий (некоторые были украшены резьбой), окруженных общей оградой. Полы в помещении, где послов принимала супруга Атилы, были покрыты мягкими коврами, а при входе в зал, где пировал сам вождь гуннов, послам поднесли чашу по гуннскому обычаю. Сам Атила восседал на своего рода «софе» — как и его жена, принимавшая императорских посланников чуть ранее. По тону повествования Приска чувствуется, что он описывает мир, ему чуждый. Тем не менее смысл некоторых деталей символического языка гуннов Приску вполне ясен: так, он понимает, что по правую

¹Текст см. в: *Fragmenta Historicorum Graecorum*. Vol. 4. P., 1851 (*Scriptorium Graecorum Bibliotheca*, 17). Фрагмент 8.

руку от Атиллы сидят более почетные лица, чем по левую, замечает, что на ложе Атиллы такие же узорчатые покрывала, какими греки и римляне украшают постели новобрачных, что изысканные кушанья подаются на серебряных блюдах, а приглашенные на пир пользуются золотой и серебряной посудой (правда, сам Атила довольствуется простой деревянной чашей)...

Во всех этих знакомых Приску элементах репрезентации гуннского правителя вполне можно заподозрить заимствования из римской придворной жизни, но доказать это вряд ли удастся. В конце концов, такие установки, как предпочтение правой стороны перед левой, вполне могут быть присущи вовсе не связанным друг с другом культурам¹. Однако у Приска есть и бесспорные указания на римские элементы в системе репрезентации Атиллы: тот приказал выстроить баню, ради чего пришлось специально привозить издалека отсутствовавший в тех краях камень. Возводил же баню римский пленный из Сирмия, столицы Иллирика (сейчас Сремска Митровица в Сербии), то есть, из места, в котором находилась большая императорская резиденция. Ясно, что ранее то ли сам этот пленник, то ли кто-то из его предков был занят не где-нибудь, а в императорском дворцовом хозяйстве.

Если же отвлечься от повествования Приска и вспомнить, что Атила добивался для себя имперской должности *magister militum* вместе с положенными ее обладателю инсигниями, а кроме того, намеревался жениться на римской принцессе Гонории², то доля «римских» элементов в наборе средств легитимации власти правителя гуннов предстает довольно заметной.

Держава Атиллы оказалась образованием эфемерным, исчезнувшим со смертью своего основателя. Своей хрупкостью она превзошла все остальные «варварские королевства», притом что ни одно из них, за исключением франкского, не отличалось, надо признать, особой прочностью. Неудача Атиллы свидетельствует и о неудаче избранной им системы репрезентации собственной власти (хотя, разумеется, к ней одной не сводится), и о «неубедительности» этой системы для его подданных. В чем состояли специфические слабости именно ее, сказать наверняка, конечно же, трудно. Однако повествование Приска может внушить по крайней мере подозрение, что в избранной

¹ О «левом» и «правом» см., например: *Deitmaring U. Die Bedeutung von Rechts und Links in theologischen und literarischen Texten bis um 1200 // Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Jg. 98. 1969. S. 265–292; Elze R. Rechts und Links. Bemerkungen zu einem banalen Problem // Das andere Wahrnehmen. Beiträge zur europäischen Geschichte / Hrsg. v. M. Kitzinger u. a. Köln etc., 1991. S. 75–82.*

² Подробнее см.: *Alföldi A. L'Idée de domination chez Attila // Nouvelle Revue de Hongrie. Vol. 6. 1932. P. 200–234.*

Аттилой пропорции между римско-имперскими и «варварскими» элементами его репрезентации последним в восприятии грека Приска оказалось отведено слишком много места. Избыток «чужих» черт в «официальном облике» властителя не может внушать расположение к нему подданных: чтобы быть легитимной, любая власть должна, помимо всего прочего, «выглядеть» в соответствии с обращенными к ней ожиданиями. Вряд ли римляне могли узнать «свою» власть в тех чертах придворного быта Аттилы, которые до нас донес Приск.

* * *

В распоряжении историка есть еще одно описание «варварского государя», правда, не гунна, а вестгота. Притом что вестготское королевство нельзя отнести к числу политических долгожителей, триста лет его существования — срок бесконечно долгий по сравнению с теми немногими десятилетиями, когда над Европой был занесен «бич Божий». Это описание содержится в известной эпистоле галльского аристократа Гая Соллия Сидония Аполлинария (430/431 — ок. 486), которой он (если поверить его словам, конечно), откликнулся на просьбу своего корреспондента Агриколы поведать о короле Теодорихе II (454–466), чьим расположением Сидоний имел счастье пользоваться¹.

Цель и время написания этого небольшого, но содержательного сочинения определяются в литературе различно. Одно дело считать его панегириком, созданным в годы правления Теодориха II, совсем другое — полагать, что «письмо» составлено на самом деле уже после убийства этого короля и содержит скрытую критику («по контрасту») его преемника, куда менее благосклонного к Сидонию Аполлинарию. Впрочем, для наших целей это различие представляется несущественным: как в том, так и в другом случае образ Теодориха должен был получиться под пером автора более или менее симпатичным. Ни к карикатурному гротеску, ни к памфлетному обличению своего героя Сидоний стремиться явно не мог. Вглядимся же в портрет короля-варвара, нарисованный римским сенатором.

Сидоний Аполлинарий подробно описывает форму носа и губ Теодориха, его шею, живот, спину, ноги с «красивыми коленями», шею, лоб и затылок, ресницы, достигающие чуть ли не середины щеки, когда король закрывает глаза. Он пишет даже о юношеском румянце короля...

¹Здесь использовалось новое издание: *Köhler H. C. Sollius Apollinaris Sidonius Briefe. Buch I. Einleitung-Text-Übersetzung-Kommentar. Heidelberg, 1995.* По нему приводятся все цитаты из разбираемого ниже письма Сидония Аполлинария Агриколе (Ерр. I, 2).

Для писателя, придерживающегося классических традиций античной литературы (а значит, и античного склада мышления), «плотский» облик государя — очень важный критерий оценки степени легитимности правителя. Человек, избранный судьбой для правления, — красив, узурпатор — уродлив. Этот прием характеристики государя пройдет и через средневековую литературу, хотя будет играть разную роль и в разных культурах, и у разных авторов. Так, на латинском западе непросто найти сочинителя, столь же подробно описывавшего облик вождей и правителей, как византийская принцесса Анна Комнина, продолжающая в этом, естественно, традиции классики¹. И все же когда под пером тюдоровских историков король Ричард III превращается не только в тирана, какого не видел свет, но и в отвратительного горбуна, становится очевидным, что и на Западе та же самая традиция к эпохе Ренессанса не вполне иссякла.

Внешность Теодориха II описана Сидонием Аполлинарием скорее с симпатией, во всяком случае, он не отмечает в ней таких изъянов, которые могли бы заронить сомнение в предназначенности молодого короля для правления. Впрочем, для нас в этой части рассказа действительно существенна лишь одна деталь: прическа короля явно представляется автору «чужой» — однако не из-за бороды (*barba*): она хоть и «курчавится у висков», но ею постоянно занимается парикмахер — *tonsor*, да так, что совсем выщипывает волосы в нижней части лица, особенно на щеках. (Похоже, Теодорих носил вовсе не «бороду» в нашем понимании, а лишь нечто вроде коротких бакенбардов.) Зато в чем Сидоний усматривает «обычай его (Теодориха) народа», иными словами, *не римский* обычай, так это в том, что «ушные раковины» Теодориха «скрываются под лежащими на них прядями волос»². К этой детали мы еще вернемся, а пока последуем далее вслед за рассказчиком.

«Рабочий день» короля начинается еще до рассвета, когда он в самом скромном сопровождении отправляется на встречу со «своими епископами» (сторонник никейского христианства Сидоний Аполлинарий здесь, надо полагать, аккуратно дистанцируется от

¹ Для Анны Комнины, впрочем, выразительность облика — качество, похоже, необходимое для любого успешного осуществления власти — легитимного или нет, неважно. Узурпаторы, посягавшие на константинопольский престол, у нее отнюдь не уроды от рождения, но, напротив, наделены весьма убедительными чертами внешности. Последнее и объясняет, почему толпы людей были за них готовы отдать свои жизни, и дополнительно подчеркивает заслуги тех, кто этих узурпаторов победил, то есть, прежде всего, отца писательницы, императора Алексея I.

² «*Aurium ligulae sicut mos gentis est, crinium superiacentium flagellis operiuntur*» (I, 2, 2).

арианского духовенства), чтобы помолиться вместе с ними¹. Правда, делает король это скорее по привычке, чем из глубокого внутреннего убеждения, — полагает наш информатор.

Раннее утро Теодорих посвящает делам правительственным. Он восседает на sella — надо полагать, sella curialis римского магистрата — в окружении вооруженных приближенных. Толпа одетых в шкуры телохранителей (или просто варваров?) «допускается, чтобы не отсутствовала, но держится за порогом, чтобы не мешала своим шумом. Поэтому шумит она только перед входом [в приемную залу?], отделенная завесами, но внутри ограды»². (К этой не вполне ясной фразе придется вернуться чуть ниже.) Король принимает посольства чужих народов, внимательно их выслушивает, но сам говорит мало... Уже во втором часу³ Теодорих встает с кресла, чтобы осмотреть кладовые или же конюшни⁴. Затем Сидоний довольно подробно рассказывает об охоте Теодориха, но для нас здесь существенна лишь та деталь, что вопреки римским охотничьим обычкновениям король охотится с копьём и луком⁵.

Интереснее описание повседневного застолья (о праздничных пирах Сидоний повествовать не хочет, потому что их роскошь якобы и так повсеместно известна). Помещение украшают мягкие покрывала на ложах и ковры (или декоративные завесы?), либо окрашенные пурпуром, либо же белые — из тонкого льна⁶. Столы отнюдь не прогибаются под тяжестью большого количества посуды из давно нечищенного, покрывшегося синеватым налетом серебра. (Иными словами, посуды мало, но она хорошо выглядит и должным образом содержится.) Блюда для кушаний отличаются блеском (изяществом?), а не весом, сами же кушанья — вкусом, а не дороговизной. Пьют за столом мало. Короче, подводит итог Сидоний Аполлинарий, здесь соединились греческая эlegantность, галльское изобилие и италийская

¹ «...antelucanos sacerdotum suorum coetus, minimo comitatu expetit, grandi sedulitate veneratur» (I, 2, 4).

² «...circumsistit sellam comes armiger; pellitorum turba satellitum, ne absit ammittitur, ne obstrepat eliminatur; sicque pro foribus immurmurat, exclusa velis, inclusa cancellis». Ibidem.

³ «Второй час» приходится летом примерно на 6–7 часов утра, а зимой на 8–9 часов.

⁴ «Surgit e solio, aut thesauris inspiciendis vacaturus aut stabulis». Ibidem.

⁵ Köhler H. Op. cit. S. 142.

⁶ «...toreumatum peripetasmatumque, modo conchyliata profertur suppellex, modo bissina» (I, 2, 6). Точные значения использованных здесь слов устанавливаются с трудом: см. подробный комментарий: Ibidem. S. 148–150.

быстрота, так же как публичная пышность, частная бережливость и королевская строгость¹.

Насытившись, Теодорих II если и предается послеобеденному сну, то лишь очень недолго, а часто и вовсе от него отказывается. Зато нередко в эти часы он увлекается игрой в кости — занятием, которое Сидоний описывает весьма подробно, сопровождая рассказ занятыми психологическими наблюдениями. Чего стоит одна лишь такая зарисовка: король лишь тогда убеждается, что действительно выиграл, когда видит огорчение от проигрыша на лицах партнеров. Тогда государь приходит в столь хорошее расположение духа, что в эту-то минуту от него вполне можно добиться благоприятного решения какого-нибудь важного дела, с которым он перед тем долго тянул. Сидоний Аполлинарий признается, что сам нередко нарочно проигрывает Теодориху, дабы дать нужный ход своим просьбам.

Около девятого часа² вновь приходит время для хлопотных правительственных забот — в первую очередь разбора всевозможных жалоб и споров, и деловая суতোлка длится до вечера, прекращаемая лишь королевским ужином. Хоть и редко, во время этих вечерних застолий устраиваются веселые мимические представления, однако такие, что никого из гостей не обижают желчные остроты. Правда, здесь не услышать ни органа, ни певца, ни декламатора, ни хора, ни оркестра, ни лиры, ни тимпана, ни кифары, потому что королю нравятся лишь такие песнопения, что не только ласкают слух, но и возбуждают доблесть духа³.

Когда Теодорих поднимается с места, он идет расставлять ночную стражу у дворцовой сокровищницы, и вооруженная охрана занимает места у входов в королевскую резиденцию: ей надлежит оберегать первый сон короля...

На этом Сидоний Аполлинарий завершает свой рассказ о государе вестготов. Текст этот очень нелегок для понимания, поскольку насыщен намеками, смысл которых сейчас уже неясен. Трудно определить, до какой степени серьезен или же, напротив, ироничен автор в тех или иных его описаниях. Так, легкую насмешку можно заподозрить в чересчур пространным и велеречивом описании королевской игры в

¹ «Videas ibi elegantiam Graecam, abundantiam Gallicanam, celeritatem Italianam, publicam pompam, privatam diligentiam, regiam disciplinam» (I, 2, 6).

²Т. е. около 15 часов по нашему счету времени.

³ «Sane intromittuntur, quamquam raro inter cenandum mimici sales, ita ut nullus conviva mordacis linguae felle feriat; sic tamen quod illic nec organa hydraulica sonant, nec sub phonasco, vocalium concentus meditatum achroama simul intonat; nullus ibi lyristes choraules mesochorus tympanistria psaltria canit, rege solum illis fidibus delinito, quibus non minus mulcet virtus animum quam cantus auditum» (I, 2, 9).

кости или же в неумеренном восхвалении «будничного» королевского обеда: тут между строк прочитывается, что за столом у Теодориха II кормили и особенно поили довольно-таки скаречно. Да и пассаж о «греческой эlegantности, галльском изобилии и италийской быстроте», якобы свойственных будничным застольям готского короля, кажется чересчур льстивым, чтобы не заподозрить в нем иронию. Однако в других случаях подтекст скрыт куда глубже, и слова автора приходится принимать за чистую монету, каковой они, возможно, отнюдь не являлись.

Легко почувствовать, что порядки при дворе Теодориха то и дело сопоставляются с какими-то иными, ведь это в *других* местах (то ли близких, то ли далеких) столы ломаются от массивной, но нечищенной серебряной посуды, а еще где-то во время трапезы играют оркестры, поют хоры, и придворным приходится страдать от желчных острот наглых мимов...

Первая отсылка явно подразумевает двор какого-то варварского государя, неважно, конкретного (например, преемника несчастливого Теодориха II) или же обобщенного. Ведь один из характерных римских стереотипов при описании варваров состоит как раз в том, что последние домогаются грубой роскоши, получив же ее, бахвалятся ею безмерно, а вот в изящном не понимают ровным счетом ничего и оценить его должным образом не в состоянии. Зато второй намек отсылает нас к куда более изощренному типу придворной культуры: оркестры, слаженные песнопения, органы и дерзкие шуты — не менее стереотипные (и потому, надо полагать, легко узнававшиеся читателем) черты римского придворного быта. Его нормы задавались, естественно, императорским окружением, но в той или иной степени воспроизводились и всеми знатными и богатыми римлянами, кто мог себе позволить некоторую роскошь¹. (Недаром же рассказ Петрония о пире у вольноотпущенника Трималхиона доносит до нас, по общему мнению специалистов, кое-что из атмосферы застолий у римского цезаря.)

Выходит, Сидоний Аполлинарий желает, во-первых, показать, что двор Теодориха II не столь «варварский», каким он вообще-то говоря вполне мог бы быть. Но, во-вторых, автор изящно дает понять сведу-

¹ Марк Аврелий вроде бы даже официально «дал высокопоставленным лицам позволение устраивать пиры с тем же убранством, какое было у него самого и с одинаковой обслугой». *Scriptores historiae Augustae. Marcus Antoninus* (XVII, 6). Перевод С. Н. Кондратьева приводится по изданию: Властелины Рима. Биографии римских императоров от Адриана до Диоклетиана. М., 1992. С. 42. Понятно, однако, что и без высочайших разрешений императорские пиры служили образцом для подражания у имперской знати — пускай даже образцом недостижимым.

щим читателям, насколько двор этот не похож и на двор «римский». Одно отличие ему представляется, похоже, вполне положительным (во время комических представлений не насмеются над гостями — нет ли тут намек на личный опыт автора или его адресата?), от суждения об остальных воздерживается. Впрочем, его оценки можно угадать — во всяком случае частично. Так, вряд ли автора письма — римского аристократа, получившего классическое образование и воспитание, — могло восхищать то (вообще-то вполне естественное) обстоятельство, что Теодорих, очевидно, ничего не смыслил в римской музыке и не ценил ее. И вряд ли тонкий слух Сидония Аполлинария действительно ласкали «песнопения, возбуждающие доблесть духа», поскольку песни сии звучали скорее всего на родном языке короля и строились в соответствии с эстетическими принципами, глубоко чуждыми представителям римской культуры. Помнится, в другом произведении наш автор высказывал свое отношение к музыкальной культуре германцев вполне недвусмысленно: «... живу я среди полчищ волосатых, / Принужденный терпеть германский говор / И хвалить, улыбаясь против воли, / Обожравшихся песенки бургундов, / Волоса умастивших тухлым жиром»¹. Вряд ли «песенки бургундов» настолько отличались в худшую сторону от вестготских «песнопений, возбуждающих доблесть духа», чтобы Сидонию Аполлинарию за ужином у короля Теодориха не приходилось «улыбаться против воли».

Сочинитель эпистолы хвалит (возможно, иронично) умеренность короля и его окружения в питье во время обеда, но не возвращается к той же теме, описывая ужин Теодориха. Это странно. Способность напиваться до полного безобразия относится к числу самых характерных для античной культуры (как греческой, так и римской) стереотипов варвара. Завершающее дневные труды королевское застолье представляло бы Сидонию Аполлинарию удобнейший повод написать пару фраз в таком духе: «И хотя даже самые жаждущие из сотрапезников ни на мгновение не испытывают недостатка в фалернском и иных лучших винах, здесь никогда не услышишь громких и бессвязных речений и не увидишь грубой разнузданности, столь свойственной натурам, мало сведущим в изящном». Однако ничего подобного наш автор не написал, чем, думается, молчаливо подтвердил справедливость бытующего мнения о винолюбии германцев. Если так, то новый смысл приобретает его фраза о том, как Теодорих идет после ужина расставлять ночную стражу. Получается, что сам король под стерео-

¹ Стихотворное послание сенатору Катутлину. Перевод Ф. А. Петровского дается по изданию: Памятники средневековой латинской литературы IV–VII веков. М., 1998. С. 296.

тип не попадает. По крайней мере, он-то, выходит, вполне сохраняет способность к разумным действиям...

Вернемся чуть раньше — к послеобеденному досугу. В эти часы, отводившиеся в быту римской элиты не только отдыху, но и приятным интеллектуальным и эстетическим занятиям: чтению, музицированию, сочинительству, философствованию, Теодорих II увлеченно играет в кости. Скрытое здесь, как представляется, противопоставление выдает себя в одной по-тацитовски динамичной фразе: если король бросает кости удачно, он молчит, если неудачно — смеется; ни в том ни в другом случае он не гневается, но как в том, так и в другом случае проявляет философское отношение (к случившемуся)¹. Такое сравнение с философом человека, от философии весьма далекого и занятого отнюдь не философским занятием, придает фразе скрытый комизм и намечает очередную разграничительную линию между «им» и «нами». Линия эта, впрочем, может быть замечена только «своими» — римскими интеллектуалами, принадлежащими к тому же кругу, что и Сидоний Аполлинарий. Остальные читатели, и прежде всего готы, вряд ли ощутят тут иронию.

Вообще-то чрезмерное увлечение игрой в кости представляет собой в римской литературной традиции тоpos для описания дурных государей². Однако умеренно предаваться этому занятию римскими биографами допускается даже образцовым правителям: вспомним пространный рассказ Светония о том, как играл (и как проигрывал) сам божественный Август³. Теодорих II в описании Сидония Аполлинария играет хоть и азартно, но проявляя «философское отношение», следовательно, содержащаяся здесь оценка готского короля скорее положительна, хотя выдана она не без снисходительности представителя более развитой культуры по отношению к варвару, пускай и располагающему к себе.

Когда Теодорих лично осматривает кладовые и конюшни или же расставляет стражу, он поступает как добрый хозяин усадьбы в первом случае и как военачальник средней руки в другом, но отнюдь не как римский император — и, вероятно, именно по причине этого отличия Сидоний Аполлинарий вообще счел нужным упомянуть такие действия своего героя. Однако оттенив здесь «германскость»

¹ «In bonis iactibus tacet, in malis ridet, in neutris irascitur, in utriusque philosophatur» (I, 2, 7).

² См., например, характеристику императора Вера: «Рассказывают также, что он ночи напролет играл в кости, усвоив себе этот порок в Сирии, и дошел в своих пороках до того, что мог соперничать с Гаем, Нероном и Вителлием...» *Scriptores historiae Augustae. Verus* (IV, 6). Перевод С. Н. Кондратьева по изданию: *Властелины Рима...* С. 50.

³ Светоний. *Божественный Август*. 71, 1–4.

Теодориха, автор все же не забывает в других местах подчеркнуть «римские» черты его облика как правителя. Ярче всего они выступают при описании оформления застолья (пускай повседневного) и в сцене официального приема.

Совершенно отказавшись от «акустического обрамления» своих трапез в римском стиле, Теодорих, судя по рассказу Сидония, напротив, полностью воспринял этот стиль для оформления визуального. Покрывала (или занавесы) пурпурного и белого цветов создают типичную «императорскую» гамму, хотя и неполную. За столом у императора она была бы, скорее всего, обогащена блеском золотой (или хотя бы позолоченной) посуды. Сочетание белого, пурпурного и золотого цветов типично именно для императорской репрезентации (и именно поэтому оно со временем будет заимствовано у римских государей римской церковью).

Несмотря на краткость, описание официального приема у Теодориха II для нас очень интересно. Во-первых, Сидоний Аполлинарий делит окружение короля на две группы. Одна названа им *pellati*, из чего, впрочем, еще не следует, что эти люди действительно были косматы или одевались в шкуры. *Pellati* — традиционное у римских авторов обозначение варваров вообще, прежде всего германцев, и потому его не обязательно понимать буквально. Как бы ни были одеты *pellati* Теодориха, они по-варварски недисциплинированы, не могут соблюдать тишину. Между тем тишина в дворцовых покоях сама представляла собой важную деталь императорской репрезентации — ведь это «священная» тишина, призванная дать ощутить сакральный характер резиденции (*sacrum palatium*), уподобить ее храму и тем самым лишний раз подчеркнуть священный характер особы государя¹. О значении, придававшемся такой тишине в дворцовом мирке, можно судить хотя бы по тому, что придворные, которых мы бы сейчас назвали церемониймейстерами, именовались обычно при римско-византийских дворах *силенциариями* — т. е. «устанавливающими тишину», «ответственными за тишину».

¹ Как и многие другие черты римской придворной культуры, «священная тишина» пришла из Персии, бывшей для римлян, по всей видимости, авторитетнейшим и неисчерпаемым источником образцов репрезентации монархической власти. Тишину во время аудиенций царя персов придворные хранили уже во времена Фемистокла, да и он сам, павши сначала ниц перед царем, затем «встал и молчал». *Плутарх*. Фемистокл, 28–29 (перевод С. И. Соболевского по изданию: *Плутарх*. Сравнительные жизнеописания. Т. 1. М., 1994. С. 147). О священной тишине в императорском дворце см. прежде всего: *Alföldi A. Die monarchische Repräsentation im römischen Kaiserreiche*. Darmstadt, 1970. S. 38; *Treitinger O. Die Oströmische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell*. Darmsatdt, 1956. S. 52–54.

Священную тишину, очевидно, умеют соблюдать окружающие Теодориха «вооруженные приближенные». Выходит, они-то не относятся к числу шумных германцев, а являются либо римлянами, либо если и варварами, то уже успевшими пройти успешную выучку в делах церемониала у римлян. Что же до телохранителей-готов, то им, естественно, положено присутствовать неподалеку от особы *готского* короля, но характерно, что их отодвинули на самый край пространства ритуала¹. Их место хоть и «внутри ограды», но только «перед входом». Восстановить топографию здесь в деталях не удастся, однако понятно, что речь идет о качественно разных «секторах» королевского дворца и об иерархии между ними: шумные готы хоть и располагаются там, куда далеко не всякому дозволяется попасть, однако им не положено переступать порог «самого главного» помещения, в котором король дает аудиенции.

Граница между обоими пространствами обозначена вполне на римский манер: занавесами, то есть, теми самыми *vela*², которыми в римско-византийском церемониале со временем даже стали обозначать очередность допуска к персоне государя. Сановников или просителей поважнее приглашали на аудиенцию к императору при «первом занавесе» (то есть когда занавес раздвигали в первый раз), других при «втором» — и так далее по нисходящей³.

Итак, Теодорих II предстает нам в зале, где присутствующие стараются соблюдать «священную тишину», окруженный неподвижными телохранителями неясного рода-племени и отделенный занавесами от своих соплеменников, шумящих в «приемной». Но на чем он сидит? Судя по всему, это не трон — привилегия императора и Бога. Ведь римские авторы называют трон обычно *solium*, а Сидоний использует слово *sella*, подходящее более всего к месту не императора, а магистрата. Когда римлянин говорит о *sella* не в бытовом смысле, а подразумевая некий символ власти, он чаще всего имеет в виду как раз складную, с низкой спинкой или же вообще без нее *sella curialis*, выполненную обычно из слоновой кости или позолоченного

¹ О таком пространстве см.: *Bojcov M. A. Qualitäten des Raumes in zeremoniellen Situationen: Das Heilige Römische Reich, 14. — 15. Jahrhundert // Zeremoniell und Raum / Hg. v. W. Paravicini. Sigmaringen, 1997. S. 129–153.*

² О занавесах и об их персидском происхождении см.: *Alföldi A. Op. cit. S. 36–38*, а также: *Treitinger O. Op. cit. S. 55–56.*

³ Описание того, как приглашенные на аудиенцию, стоя перед задернутым занавесом, готовятся к ней, как перед ними, наконец, занавес раздвигают и как они возвращаются после аудиенции обратно к тем, кто еще ожидает своей очереди, см., например, в следующем месте «Книги церемоний»: *Constantini Porphyrogeniti imperatoris De cerimoniis aulae Byzantinae libri duo / Ed. I. I. Reiske. Bonn, 1829. Vol. 1. P. 706 (II, 52).*

металла и дерева. Варварские короли, как правило, не посягали на императорские инсигнии и непонятно, почему Теодорих II должен был бы оказаться исключением, усевшись не на *sella curialis*, а на императорский *solium*. Исидор Севильский (ок. 560—636), конечно, пишет, что вестготский король Леовигильд (568—586) якобы восседал именно на *solium*'е, но Исидора можно понять в том смысле, что как раз Леовигильд и был первым королем вестготов, позволившим себе такую дерзость¹. Между тем Теодориха II и Леовигильда разделяет больше столетия...

Разумеется, мы не знаем, при помощи каких выразительных средств Теодорих II «на самом деле» выстраивал свою власть. Но мы видим, как рисовал образ этой власти Сидоний Аполлинарий. Сколь бы сильно ни отступал он от «действительности», сколько бы ни стилизовал портрет Теодориха, нам достаточно и того, что читатели его эпистолы, будь то Агрикола, будь то кто иной, представляли себе Теодориха так, как преподносил его им Сидоний. Пусть мы никогда не узнаем, как *выглядел* Теодорих, у нас есть хорошая возможность представить, по крайней мере, каким *являлся* он мысленному взору Агриколы и его современников. (Хотя, как уже говорилось, ряд оттенков и в этом образе нам уже — увы! — различить невозможно.)

Выходит, облик Теодориха как государя «в глазах Агриколы» сочетает черты римские и варварские. Однако этой банальной констатации недостаточно: стоит проследить, в каких именно случаях Теодорих II более «варвар», а в каких — более «римлянин». Мне видится в рассказе Сидония Аполлинария определенная закономерность: чем ответственнее в репрезентативном отношении ситуация, тем больше «римскости» проступает в облике вестготского короля. Соответственно наиболее «римской» оказывается самая торжественная сцена — дворцового приема. «Варварство» здесь буквально выставлено за дверь (точнее, за занавес), а все, что происходит в зале для аудиенций, стилизовано в «имперском» духе. Кстати, в этой зале присутствуют не только римляне, но и чужеземные посланники² (представляющие народы не менее варварские, чем вестготы). И Теодорих II является им не как *rex* одного из германских племен, а в совершенно ином обличье, хорошо известном во всем средиземноморском регионе, — в облике римского магистрата³. В своей репрезентации король пользуется

¹ *Isidoros Hispaliensis. Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum // Monumenta Germaniae Historica* (далее — MGH). Auctores antiquissimi (далее — AA). Т. 11. Hannover, 1894. P. 288: «...primusque inter suos regali veste opertus solio resedit...» (51).

² «Inter haec intromissis gentium legationibus...» (I, 2, 4).

³ О том, что варварские короли (в частности, вестготы) понимали себя как магистратов на службе империи, см.: *Bornwell P. S. Emperor, Prefects & Kings. The Roman West 395–565*. Lnd, 1992. P. 74.

«универсальным» символическим койне, каковым давно уже стал стиль представительства римского императора и его должностных лиц. Вряд ли Теодорих II выбрал себе этот стиль исключительно ради «иностранцев», но их систематическое появление при вестготском дворе могло ускорить «романизацию» обличия государя.

Довольно «римским» выглядит под пером Сидония Аполлинария и повседневное застолье короля. Лишь исполнение героических песен за ужином выбивается из «имперского стиля». Тут стоит иметь в виду, что состав сотрапезников Теодориха II неизбежно должен был от раза к разу меняться. Вряд ли готский эпос звучал в тех случаях, когда за трапезой присутствовало много тех самых «посланцев народов» (пускай даже германских), которым Теодорих перед тем давал торжественную аудиенцию. «Песнопения» должны были исполняться в кругу «своих», т. е. прежде всего готов и тех доверенных римлян, кому, подобно Сидонию, приходилось «хвалить, улыбаясь против воли», варварские напевы, якобы не только «приятные на слух», но и «вселяющие доблесть в сердце»¹. Всякое застолье служило установлению и поддержанию социальных связей², но в данном случае пир призван был спланировать вокруг персоны короля в первую очередь *готскую* знать, и соответственно в рамках этого действия проще всего могли сохраняться архаичные «варваризмы».

Не потому ли латинские авторы поминали трапезы варваров с некоторым содроганием, что именно здесь вырывалась на поверхность «чуждость» пришельцев, оставшаяся при других обстоятельствах более ли менее скрытой? Агнелл Равеннский (800/805—после 846) не только упоминает пьянство на пирах у лангобардского короля Альбоина (560/565—572/573), но и рассказывает, как король пил из очень красиво оформленной чаши, сделанной из черепа своего тестя³, и даже заставлял делать то же свою жену (что в конечном счете и сто-

¹ «... illis fidibus... quibus non minus mulcet virtus animum quam cantus auditum» (I, 2, 9).

² Литература о такой функции пира необозрима. Российскому читателю проще всего начать знакомство с ней с краткой статьи: Гуревич А. Я. Пир // *Словарь средневековой культуры*. М., 2003. С. 359—360.

³ «Quod capud erat ex auro ligatum optimum margaritisque et diversis preciosissimis gemmis infixum». Agnelli qui et Andreas liber pontificalis ecclesiae Ravennatis ed. O. Holder-Egger // *MGH. Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI—IX*. Hannoverae, 1878. P. 265—391, здесь P. 362. Об этом интереснейшем авторе см. на русском языке: Бородин О. Р. Средневековые «книги понтификов» — формирование историографического жанра // *Культура и общественная мысль. Античность. Средние века. Эпоха Возрождения*. М., 1988. С. 64—72; Он же. Итальянский историк IX в. Агнелл из Равенны и его мировоззрение // *Проблемы истории античности и средних веков*. М., 1981. С. 49—66.

ило ему жизни). Чересчур доверять этой легенде, конечно, не стоит, хотя пить из черепов противников, действительно, вполне известный обычай, особенно принятый у кочевников¹. Тут важно, что Агнелл Равеннский, примыкая к сложившейся литературной традиции, передает общее впечатление о «чужести» варварского пира римской культуре — впечатление, сложившееся, конечно же, задолго до его собственного времени. Тем более заслуживает внимания деликатность Сидония Аполлинария: помимо «песнопений», он не замечает особых «германизмов» за столом у своего покровителя.

Вот и обозначилась граница, определяющая преобладание либо «римского» начала, либо же «варварского» в облике готского короля: Теодорих II предстает больше готом тогда, когда оказывается в одиночестве или же в кругу «своих», и больше «римлянином», когда выходит из этого круга на широкую публику. Именно «среди своих» Теодорих самозабвенно (хоть и как философ) бросает кости, охотится, обходит дворцовое хозяйство и расставляет у дверей стражу (наверняка тоже «косматую» — *pellati*, как и телохранители перед занавесом). Элемент репрезентативности присутствует, наверное, и во всех этих действиях, но он ясно не выражен, не преобладает. Придворный церемониал развит слабо и менее всего претендует на подчинение себе всей личности государя, как нередко бывало в других культурах и в другие времена. Итоговая формула, которую, как кажется, позволительно вывести из рассмотренного материала, звучит так: «варварство» — в *относительно приватной* сфере и «римскость» — в *сфере относительно публичной*. Здесь нет возможности специально обосновывать, что само разделение жизни Теодориха II на

¹ Хорошо известный российскому читателю эпизод с черепом Святослава, превращенным в кубок для вождя печенегов, не единственный. Болгарский хан пил из черепа императора Никифора I, погибшего в бою с ним в 811 г. Повидимому, верно предположение, что у ряда кочевых племен голова рассматривалась как вместилище персональной харизмы человека. Пить из черепа тогда означает вбирание в себя жизненной силы и удачи побежденного врага. О стремлении не допустить присвоения таким способом харизмы павшего свидетельствует эпизод, сохранившийся в монгольской традиции. Когда один из противников Чингис-хана был убит, сыновья его, не имея возможности ни похоронить отца на месте боя, ни увезти его прах с собою, отрезали его голову и поспешно отошли с ней. См.: Скрынникова Т. Д. Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. М., 1997. С. 123 со ссылкой на: Козин С. А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. М.; Л., 1941. С. 151. Другие примеры, приводимые Т. Д. Скрынниковой, позволяют ей предположить, что «харизма», заключенная в черепе вождя, имела значение для сохранения его рода и всего социума. За любезное указание на книгу Т. Д. Скрынниковой я глубоко признателен И. Н. Данилевскому.

сферы «частную» и «публичную»¹ может быть лишь условным. «Приватность» у варварского короля представляла собой явно нечто иное, нежели новоевропейская *privacy*, с одной стороны, и *otium* римского аристократа — с другой. Тем не менее, соблюдая сугубую осторожность в данном вопросе и даже вообще отказавшись от использования слов «приватное» и «публичное», трудно не заметить, что одни стороны жизни короля были более открытыми, а другие — менее. Но именно в первых воздействие римской культуры сказывается заметнее всего.

* * *

Вспомним, что в облике Теодориха II была одна «неримская» черта, в самом начале упомянутая Сидонием Аполлинарием, с которой король не мог бы расстаться даже в самых официальных ситуациях. Эта черта — прическа. Как известно, у варваров (во всяком случае германцев) прическа служила важнейшим средством племенной идентификации. Римский император не только не нуждался в какой бы то ни было этнической идентификации, она бы ему только вредила. Император — владыка ойкумены, государь всех христиан, а значит, потенциально всего человечества, и в этом качестве он возвышается над всем множеством групп, человечество составляющих. Совсем иное дело короли варваров, далекие от таких универсальных претензий. Они вполне оправдывали снисходительное обозначение, придуманное им римлянами, — *reges gentium*, т. е. «цари народов». Внешнее выражение «народной», племенной самоидентификации неизменно включалось ими в систему репрезентации собственной власти.

Взглянем на известный медальон остготского короля Теодориха Великого (474—526). Государь представлен на нем вполне в римском стиле вплоть до того, что держит в руке сферу с викторией, несущей пальмовую ветвь и лавровый венок (*рис. 1*). Однако при взгляде на прическу короля сразу вспоминается строка Сидония Аполлинария, в которой он упоминает «чужую» ему черту в облике другого Теодориха — вестготского: его «ушные раковины... скрываются под лежащими на них прядями волос». Выходит, эта особенность была общей для всех готов.

Еще один пример — медная позолоченная пластинка, некогда украшавшая шлем знатного лангобардского воина, найденная под

¹ Вопрос о «частном» и «публичном» в культурах, отличных от новоевропейской обсуждается в: Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / под ред. Ю. Л. Бессмертного. М., 1996 и Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала нового времени / под ред. Ю. Л. Бессмертного. М., 2000.



Рис. 1

Вальдиньево и хранящаяся ныне в Национальном музее дель Барджело во Флоренции (рис. 2). В ее центре — восседающий на престоле лангобардский король Агилульф (591–615/616) с двумя телохранителями-копьемосцами за спиной. Даже в новых работах можно встретить весьма произвольные трактовки смысла изображенного. Так, Г. Броджоло считает, что телохранители за престолом Агилульфа символизируют лангобардское войско, а сам король принимает «просителей»: с каждой стороны к нему приближаются по одному римлянину и одному лангобарду¹. Между тем изображение прочитывается довольно легко, если знать правила официальной римской иконографии, в соответствии с которыми оно и построено. При всей

¹ Brogiolo G. P. Ideas of the Town in Italy during the Transition from Antiquity to the Middle Ages // The Ideas and Ideal of the Town between Late Antiquity and the Early Middle Ages / Ed. by G. P. Brogiolo and B. Ward-Perkins. Leiden; Boston; Köln, 1999 (The Transformation of the Roman World, 4). P. 115–116.

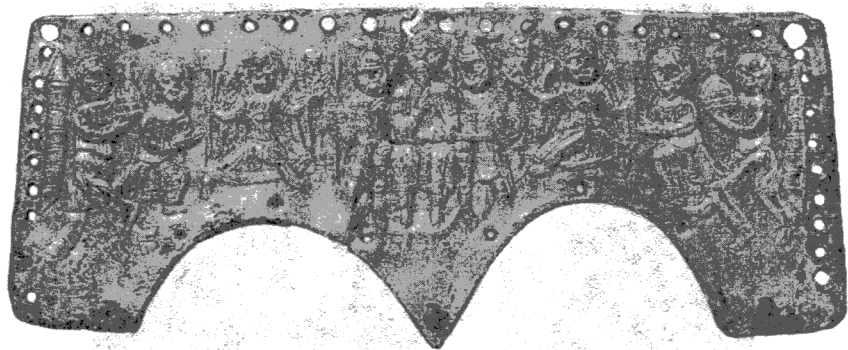


Рис. 2

грубости работы легко различить слева и справа от телохранителей-спафариев фигуры викторий, подводящих к трону Агилульфа кого-то, кого он, очевидно, одолел на поле брани. Аналогичные композиции многократно встречаются в официальном римском искусстве, означая подчинение императору побежденных им варваров. Позже эта иконографическая идея была перенесена и на сцены приношений Иисусу Христу, и прежде всего поклонения волхвов¹. Однако она будет продолжать жить и в светской «императорской» иконографии еще в Средние века: вспомним, как «Рим», «Галлия», «Германия» и «Склавиния» вполне на античный лад несут свои «дары признания» к трону императора Оттона III... (рис. 3).

Если и допустить вместе с Г. Броджоло, что «варвары» на пластинке со шлема о чем-то и «просят», то это может быть только просьба о пощаде после проигранной войны. (Уже по этому одному вряд ли среди «просителей» стоит предполагать лангобардов.) На самом деле, «варвары» здесь не столько «просят», сколько выражают готовность к подчинению, признают власть Агилульфа над собой. Весь вопрос в том, кто такие эти «варвары»?

Две фигуры «варваров» по краям композиции несут предметы, различно трактуемые специалистами. Чаще всего в последнее время в них

¹Подробнее см.: Грабар А. Император в византийском искусстве. М., 2000. С. 235–238, а также: Klauser Th. Aurum coronarium // Idem. Gesammelte Arbeiten zur Liturgiegeschichte, Kirchengeschichte und christlichen Archäologie. Münster, 1974 (Jahrbuch für Antike und Christentum. Erg. Bd. 3). S. 292–309, здесь S. 306. Anm. 119. (Первая публикация: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung. Bd. 59. 1944. S. 129–153.)



Рис. 3

видят либо просто боевые шлемы¹, либо же шлемы репрезентативные, от которых, как давно уже предполагают исследователи, происходит форма «закрытой» императорской короны². Мне также представляет-

¹Так, например, в: *Menghin W. Die Langobarden: Archäologie und Geschichte.* Stuttgart, 1985. S. 79.

²Такое мнение высказано прежде всего в авторитетной работе: *Piltz E. Kamelaukion et mitra. Insignes byzantines impériaux et ecclésiastiques.* Stockholm, 1977 (Figura, N. S., 17). P. 87. Здесь автор называет интересующие нас предметы «les couronnes-casques superposées d'une croix chrétienne». Правда, когда исследовательница тут же пишет, что эти «короны-шлемы» подносятся

ся, что речь здесь может идти прежде всего о «шлемах-коронах», однако таких, в которых «корона» (символизирующая и воплощающая в себе власть) играет уже куда более важную роль, нежели «шлем» (попросту защищающий в бою голову от ударов). Некое сообщество (племя, народ, город) выражает признание власти государя тем, что подносит ему венец — эта традиция имеет в Средиземноморье очень глубокие корни. Еще к Александру прибывали из разных земель посольства, чтобы возложить на него золотые венцы¹.

Представляется крайне маловероятным, чтобы Агилульф получал «шлемы-короны» с крестами на навершиях действительно от варваров. Во-первых, это слишком высокий «ранг» инсигнии: даже если кому-либо из варварских государей и удалось бы захватить римскую корону такого рода, ее все равно не стали бы изображать, ведь иконография представляет собой род обобщения, а не зрительной фиксации исключительных случаев. Кстати, сам Агилульф вряд ли позволил бы себе носить такую корону, даже если бы он такой и обладал. Во всяком случае, та, что вроде бы ему действительно принадлежала и хранится сейчас в Монце, относится к куда более скромному типу диадем². Во-вторых, *victuria* (так в надписи на пластинке³) над двумя варварскими племенами вряд ли заслуживала запечатления в столь высокотожественном имперском стиле. В-третьих, пластинка сделана тогда, когда лангобарды давно уже были в Италии, а потому основную проблему для Агилульфа и его людей (один из которых и носил на голове шлем, украшенный пластинкой со столь выразительным рельефом) представляли отношения не с какими-то варварами, пускай и столь опасными, как франки или авары, или столь беспокоящими, как собственные же лангобардские князья, а с

Агилульфу «*par les dignitaires de sa soeur*», она совершенно искажает смысл изображенной сцены.

¹ Приведем несколько характерных цитат из Арриана: «Когда он шел в Илион, Менетий, кормчий, увенчал его золотым венцом; то же сделал Харет, афинянин, прибывший из Сигея, и другие эллины и местные жители» (I, 12); «Сюда пришли от фаселитов послы увенчать Александра золотым венцом и просить у него дружбы» (I, 24); «В Вавилоне к нему явились посольства от эллинов... Я думаю, что большинство явилось, чтобы увенчать его...» (VII, 18); «В это же время явились и посольства из Эллады; послы эти, сами в венках, подойдя к Александру, надели на него золотые венки, словно он был богом...» (VII, 23) Перевод М. Е. Сергеенко приводится по изданию: *Арриан. Поход Александра*. М., 1993.

² См. о ней прежде всего: *Elze R. Die Agilulfkrone des Schatzes von Monza // Historische Forschungen für Walter Schlesinger / Hrsg. v. H. Beumann. Köln etc., 1974. S. 348–357* (перепечатано также в: *Idem. Päpste, Kaiser, Könige und die mittelalterliche Herrschaftssymbolik: ausgewählte Aufsätze. Lnd., 1982*).

³ Полностью надпись звучит: «*VICTURIA DOMNO AGILULF REGI*».

римлянами. Обратим внимание на то, что, по крайней мере, фигуры, несущие «шлемы-короны», бриты и стрижены накоротко, как положено не варварам, а как раз римлянам. Какие сообщества они могли символически представлять?

На мой взгляд, «поднести» Агилульфу столь выразительные короны во всей Италии могли только имперские столицы — Рим, Равенна и Милан, разумеется не сами, а в лице собственных условных персонификаций и не в реальном пространстве, а в иконографическом. Однако Милан пребывал во власти лангобардов еще до воцарения Агилульфа, и, кстати, именно в Милане он сам был провозглашен королем¹, как позже и его сын. Поэтому «викториям» оставалось подводить к Агилульфу лишь персонификации Рима и Равенны. Ни тот ни другой город не были тогда в действительности захвачены лангобардами, но и Риму и равеннскому экзарху пришлось заключать с Агилульфом тяжелые для них соглашения. Рим откупился 500 фунтами золота, экзарх же по сути дела признал свою неспособность противодействовать лангобардам². Эти договоры Агилульф вполне мог рассматривать как свои победы. Поэтому возможно допустить, что рельеф на шлеме из музея Барджело следует понимать как лангобардскую *интерпретацию* отношений Агилульфа с Римом и Равенной.

В такой «расшифровке» сцены на пластинке есть слабое место: в римской традиции персонификации городов и стран всегда изображались в виде женских фигур, а не мужских, как в нашем случае. Объяснение видится в том, что мастер-германец сознательно или по неумению совместил две разные композиции из официального римского искусства: «персонификации стольных городов» и «варвары, подчиняющиеся императору». Трудно сказать, в какой степени заказчик и исполнитель этого произведения осознавал произведенную им здесь культурную инверсию: место, отводимое в стандартной композиции римскому императору, занял варвар, а места, предназначенные варварам, достались римлянам... Как бы то ни было, вся сцена выполнена при помощи сугубо римского изобразительного языка, хоть и с не слишком умело «выговариваемого». Однако и здесь

¹ *Schroth-Köhler Ch. Agilulf // Lexikon des Mittelalters. Bd. 1. München, 2002. Sp. 208–209, здесь Sp. 208 с ошибочным указанием на то, что Агилульфа провозгласили королем в миланском цирке. На самом деле Павел Диакон не указывает в данном случае такой детали: «Sed tamen, congregatis in unum Langobardis, postea mense maio ab omnibus in regnum apud Mediolanum levatus est» (III, 35).*

² К сожалению, тема взаимоотношений экзархата с лангобардами почему-то осталась за рамками исследования: *Бородин О. Р. Равеннский экзархат: византийцы в Италии. СПб., 2001 (первое издание — 1991 г.).*

бросается в глаза одна характерная вызывающе «неримская» деталь репрезентации государя — это опять-таки его волосы.

Лангобардов не прозвали бы лангобардами, если бы они не отращивали длинных бород. Сохранилось и подробное описание «племенной прически» лангобардов — о ней поведал лангобардский историк рубежа VIII и IX вв. Павел Диакон, делясь с читателями впечатлениями от «галереи предков» в королевском летнем дворце в Монце. Судя по этим изображениям, лангобарды в старину, оказывается, брили затылки и шеи, а оставшиеся волосы отращивали и заставляли спускаться вдоль щек, делая при этом пробор над серединой лба¹. (Из заинтересованного рассказа Павла Диакона можно заключить, что ни он сам, ни другие лангобарды, его современники, таких архаических племенных причесок уже давно не носили.) Пластинка из Вальдиньево прекрасно подтверждает свидетельство Павла Диакона: на ней у Агилульфа вполне можно разглядеть и бороду, и пробор посередине головы.

Три приведенных выше примера: с королем вестготов Теодорихом II (V в.), королем остготов Теодорихом Великим (рубеж V и VI вв.) и королем лангобардов Агилульфом (рубеж VI и VII вв.) позволяют, пожалуй, сделать один существенный вывод. Варварские государи старательно, в меру своих возможностей (и в меру своего понимания) перенимали репрезентативную систему Римской империи. Единственный неримский элемент, последовательно привносимый ими в сферу репрезентации своей власти, — это символическое выражение собственной племенной принадлежности².

Надо признать, этот неримский элемент оказался довольно устойчивым, хотя со временем для «опубликования» своей племенной идентичности государи стали использовать не столько волосы, сколько «национальные костюмы». Еще Эйнгард с одобрением отзывается о том, что Карл Великий обычно носил франкскую одежду. Однако он же весьма выразительно сообщил и об исключениях из этого правила:

¹ *Paulus Diaconus. Historia Langobardorum // MGH. Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI–IX. Hannover, 1878. «Ibi etiam praefata regina sibi palatium condidit, in quo aliquid et de Langobardorum gestis depingi fecit. In qua pictura manifeste ostenditur, quomodo Langobardi eo tempore comam capitis tondebant, vel qualis illis vestitus qualisque habitus erat. Siquidem cervicem usque ad occipitium radentes nudabant, capillos a facie usque ad os dimissos habentes, quos in utramque partem in frontis discrimine dividebant» (IV, 22).* О том, что изображения в Монце несли в себе глубинное противоречие между «варварским» содержанием и римской репрезентативной техникой, применяемой для передачи этого содержания, см.: *Бойцов М. А. Символический мимесис — в Средневековье, но не только // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории — 2004. Вып. 6. М., 2005. С. 355–396, здесь с. 386.*

² Знаменитые «длинные волосы» меровингских государей заслуживают отдельного обсуждения.

Карл одевался по-римски (а точнее говоря, как римский государь) при своих визитах в Вечный город (по просьбе сначала одного, а затем другого папы римского, утверждает Эйнгард, как бы оправдывая своего героя). Но главное, Карл «выступал в вытканной золотом одежде, украшенной драгоценными камнями обуви, застегнутом на золотую пряжку плаще и в короне из золота и самоцветов» по «торжественным дням», т. е. прежде всего по церковным праздникам¹. Праздников таких было немало, так что Карл в действительности не так уж и редко менял франкский костюм на облачение совсем иного рода — вероятно, чаще, чем это хотелось бы Эйнгарду. Естественно, образцом для такого праздничного облачения служило одеяние римского (константинопольского) императора.

Сказанное позволяет констатировать определенный сдвиг в принципах репрезентации варварских государей, произошедший к рубежу VIII и IX вв.: идея «племенной идентичности» полностью исчезает из облика правителя в наиболее репрезентативных ситуациях, хотя и сохраняется в случаях менее ответственных. Иными словами, концентрация «римскости» в образе власти, создаваемом варварскими правителями, с годами не уменьшилась, а, напротив, увеличилась. Известно, что сын и наследник Карла Великого Людовик Благочестивый будет настойчивее и последовательнее отца стилизовать свой облик по лекалу, заданному римско-византийскими государями, и соответственно еще в большей мере жертвовать символической идентификацией с народом франков.

Впрочем, франкский костюм еще сыграет свою роль в деле королевской репрезентации, правда, в ситуации очень специфической. Ее задавало сочетание двух противоречивших друг другу обстоятельств: с одной стороны, требовалось избрать короля *франков*, но, с другой, кандидат на корону был по рождению вовсе не франком, а саксом. Случай такого рода — не первый: так, известный нам уже король лангобардов Агилульф по своему роду-племени был не лангобардом, а тюрингом. Какими именно символическими средствами он преодолел это противоречие, неизвестно. По крайней мере, на описанной выше пластинке мастер наделил Агилульфа «лангобардской идентич-

¹Перевод М. С. Петровой дается по изданию: Историки эпохи Каролингов. М., 1999. С. 25–26. В оригинале: «Vestitu patrio id est Francico utebatur... excepto quod Romae semel Hadriano pontifice petente et iterum Leone successore eius supplicante longa tunica et clamide amictus, calceis quoque Romano more formatis induebatur. In festivitibus vestae auro texta et calciamentis gemmatis et fibula aurea sagum adstringente, diademate quoque ex auro et gemmis ornata incedebat» (23). *Einhard. Vita Karoli Magni* / Ed. O. Holder-Egger. Hannover, 1911 (MGH, *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi*, [25]). P. 27–28.

ностью», украсив его соответствующей прической. К X в., как уже говорилось, прически не играли уже столь важной роли, и потому сакс Оттон I при своей коронации в Ахене в 936 г. является, согласно воспоминаниям Видукинда Корвейского, «одетым в прямую тунику по обычаю франков»¹.

Выходит, «племенная» одежда возвращается в одну из самых ответственных репрезентативных сцен — сцену коронации вопреки всему предыдущему развитию символической традиции? Но это разовое событие недостаточно просто назвать «исключением, подтверждающим правило». «Племенной идентификации» в коронации 936 г. отводится совсем иное место, чем у варварских королей V–VI вв., она совершенно иначе понимается современниками. В так называемую эпоху «Великого переселения народов» (воспользуемся этим неточным, но привычным обозначением периода) принадлежность к племени являлась базовой характеристикой индивида — как рядового воина, так и короля. Что Теодорих II вестготский, что Теодорих Великий остготский предъявляют себя прежде всего готами, а уж «поверх» этого образа наносят королевские черты, пользуясь римской палитрой. Для Оттона I его благоприобретенная «франкскость» имеет значение лишь постольку, поскольку традиция требует от легитимного носителя власти обладания этим качеством. Он — франк, *потому что* король, а не король, *потому что* франк; его «национальная идентичность» — производная от власти, а не исходная необходимая предпосылка обладания ею. Своим франкским костюмом Оттон I отождествляет себя не с *народом франков*, а с *королевским саном*, который, согласно традиции, должен переходить от одного знатного представителя народа франков к другому.

В самом деле, до тех пор франки и «поставляли» королей для своей многонациональной империи и представляли собой основную массу подданных *regum Francorum*. Оттон I, представ на коронации франком, не сменил своей племенной идентичности, как, возможно, некогда удалось сделать Агилульфу. Он остался саксом, но с титулом «короля франков» и во франкском костюме. «Племенная идентичность» в данном случае была низведена с уровня основного средства включения индивида в социум до роли одного из элементов ритуальной процедуры.

Однако то, что она вообще не была забыта, а, напротив, оказалась на какое-то время весьма востребована, само по себе не лишено интереса. Во времена Теодорихов и Агилульфа единственной развитой

¹ «...tunica stricta more Francorum induto». *Widukind Corbeiensis. Rerum gestarum Saxoniarum libri III* / Ed. P. Hirsch et H.-E. Lohmann. Hannover, 1935 (MGH, Scriptorum rerum Germanicarum..., [60]). (II, 1).

традицией «оформления» власти (оформления не только внешнего, но и идеологического) была традиция римская. Ко времени же Оттона I власть франкских королей (при том, что главные черты ее облика были исходно заданы римскими образцами) уже выработала ряд собственных символических «тезисов», с античностью не связанных. К числу этих инноваций относятся и «образцовая» фигура основателя легитимирующей традиции Карла Великого и идея «франкскости» созданной им державы. Если бы оба эти мотива не вошли прочно в «образ властителя», саксонскому «высочке» Оттону I не нужно было бы уделять им внимания. Однако он учел их оба: первый — выбрав в качестве места своего символического возвышения в короли именно Ахен, а второй — представ облаченным во франкскую «тунику».

* * *

Из приведенных выше эпизодов складывается впечатление, что короли варваров, осевших на землях Римской империи, не были склонны к экспериментам и новациям в сложном деле выражения собственной власти, а пользовались прежде всего римским набором символов. Не похоже, чтобы при создании облика этих государей нашло применение что-нибудь существенное из архаических традиций их народов. (Да и много ли известно об этих гипотетических «архаических традициях»?) Мы ничего не слышим ни о рогатых шлемах (впрочем, подаренных древним германцам лишь художниками Нового времени), ни о королевских одеяниях из шкур и меха, ни о каких бы то ни было необычных древних инсигниях. Во всяком случае, римские авторы не описывают ничего особенно экзотического в облике варварских государей. Кассиодор в рассказе об Одоакре считает нужным подчеркнуть как нечто необычное как раз то, что этот удачливый вождь варваров *не* стал надевать пурпура, противопоставляя его тем самым, очевидно, остальным королям германцев, и прежде всего Теодориху Великому.¹

Не так давно историк Дитрих Клауде заново собрал сведения об инаугурационных церемониях остготов, но, похоже, и ему не удалось выявить в них следов глубокой архаики. В самом деле, фразы Проккопия Кесарийского о «королевской порфире», в которую облачили Ильдибада при провозглашении королем в 540 г. и которую он собирался при определенных условиях сложить к ногам Велизария², меньше всего наводят на такие следы. Тем не менее в литературе

¹ Cassiodor. Chronica // MGH. AA. T. 11. P. 120–161, здесь P. 158–159 (a. 476): «...nomenque regis Odovacar adsumpsit, cum tamen nec purpura nec regalibus uteretur insignibus».

² Проконий Кесарийский. Война с готами. II, 30.

делалось немало попыток представить дело так, будто здесь речь идет о «доримском» пурпурном королевском платье, якобы появившемся у остготов еще до их переселения на римскую территорию, возможно, под влиянием Ирана¹.

Основания для этих предположений зыбки уже хотя бы потому, что Ильдибад правил остготами после Теодориха Великого, вне всякого сомнения носившего пурпур — хотя бы время от времени². То, что известно о пурпуре Теодориха, хорошо указывает на римские образцы для его применения³, но дает крайне мало тем, кто ищет указаний на традиции, тянущиеся еще из причерноморских степей или прирейнских болот. Впрочем, даже если короли готов действительно носили багрянец до 395 г., это вовсе не исключает влияния на них Рима, ведь и христианство они приняли до переселения в империю и скорее

¹ Claude D. Die ostgothischen Königserhebungen // Die Völker an der mittleren und unteren Donau im 5. und 6. Jahrhundert / Hg. von H. Wolfram und F. Daim. Wien, 1980 (Denkschriften der Akademie Wien, 145). S. 149–186, здесь: S. 177 с указанием дальнейшей литературы об «иранских корнях» остготской порфиры. Сам Д. Клауде чуть ниже солидаризируется с мнением о существовании у королей остготов древнего багряного платья, к которому позже добавилось уже собственно римское пурпурное облачение.

² К пурпурному одеянию хорошо подходит диадема. Поскольку до наших дней дошли диадемы как от вестготов, так и от лангобардов, трудно сомневаться в том, что многие варварские вожди носили такие венцы. Зато у часто высказываемой историками уверенности в том, что, по крайней мере, остготские государи во время войны с Византией присвоили себе закрытые «императорские» короны, вряд ли достаточно оснований. Гипотеза основана на фразе Феофана о гибели короля Тотилы в сражении при Буста Галлорум. Победителям достался, помимо прочего, «камелавкий» Тотилы. Однако, как показывает Т. Колиас, Феофан использует это слово в смысле «головной убор, шапка, шлем», но отнюдь не в специальном значении царского венца. *Kolias T. Kamelaukion // Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik*. 1982. Jg. 32/3. S. 493–502, здесь S. 494.

³ Теодорих получает в 497 г. *vestis regia* — «королевское облачение» от императора из Константинополя, он открывает цирковые игры, а значит, должен быть при этом одет как консул, т. е. в пурпур, он отправляет письмо в Отранто ответственным за приготовление багряной краски, которая, очевидно, находит применение при его дворе. Письмо приводится у Кассиодора, в нем Теодорих, в частности, говорит: «color nimio lepore vernans, obscuritas rubens, nigredo sanguinea regnantem discernit, dominum conspicuum facit et praestat humano generi, ne de aspectu principis possit errari». *Cassiodor. Variae*. I, 2, 2. Из преемников Теодориха даже Тотила, упорнее всех противостоявший войскам Юстиниана, скорее всего надевал римские одеяния. Ведь он бывало «присутствовал на конном состязании» (*Проконий Кесарийский*. Война с готами. III, 37), то есть должен был на манер консула открывать цирковые игры, и крайне маловероятно, чтобы столь традиционную процедуру он проводил одетым в готском платье, а не в римский пурпур.

всего безо всякого воздействия со стороны Ирана. Вообще ссылка на гипотетические иранские влияния здесь мало что дает, ведь вполне справедливо сказать, что и римские императоры стали носить пурпур прежде всего в подражание персидским царям царей (и другим эллинистическим государям, многое воспринявшим из символики «образцовой» персидской монархии). Так что если предшественники Теодориха и носили порфиру, это говорит лишь о том, что готы отказались от гипотетических «германских» форм репрезентации власти очень рано, находясь еще только на периферии средиземноморско-ближневосточных цивилизаций.

То же самое можно заподозрить и в отношении иных форм репрезентации, пускай и самых «германских» на вид. Остготский король Витигиз упоминает, как его поднимали на щит при провозглашении государем¹. Если его ссылка на обычай предков не риторическая фигура, можно допустить, что на щит готы поднимали и Теодориха Великого. Но вот предположения историков о проявлении здесь глубоких древнегерманских традиций² вряд ли легко обосновать. Дело в том, что хотя Тацит в начале II в. и говорит о поднятии на щит как об обычае скорее германском, уже в 360 г. путем именно этой процедуры легионы провозглашают римского императора. При отсутствии каких бы то ни было иных свидетельств о подъеме на щит королей как вестготов, так и остготов процедуру возвышения Витигиза куда проще объяснить влиянием со стороны имперского ритуала (даже если изначально эта церемония и была заимствована римлянами у германцев).

В 744 г. лангобардскому королю Хильдебранду при его избрании, по словам Павла Диакона, вручили копьё «согласно обычаю»³. Эта сцена так и просится, чтобы ее поместили на гипотетической линии преемственности «варварской символики» от фремей, которыми потрясали древние германцы в описании Тацита⁴, через копьё раннесред-

¹ «...unde auctori nostro gratias humillima satisfactione referentes indicamus parentes nostros Gothos inter procinctuales gladios more maiorum scuto subposito regalem nobis contulisse praestante domino dignitatem, ut honorem aram darent, cuius opinionem bella pepererant». *Cassiodor. Op. cit. X, 31, 1.*

² *Claude D. Op. cit. S. 175.*

³ *Pauli Historia Langobardorum // MGH Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum Saec. VI–IX. Hannoverae, 1878. S. 184 (6, 55): «Quem Langobardi vita excedere existimantes, eius nepotem Hildeprandum foras muros civitatis ad basilicam sanctae Dei genetricis, quae ad Perticas dicitur, regem levaverunt. Cui dum contum, sicut moris est, traderent, in eius conti summitate cuculus avis volitando veniens insedit. Tunc aliquibus prudentibus hoc portentum visum est significari, eius principatum inutilem fore».*

⁴ Относительно символической роли фремей историки традиционно приводят два места из «Германии» Тацита. Одно относится к поведению на народ-

невековых правителей¹ (так, Меровинги изображали себя на монетах с копьями в руках) к «Священному копыю», хранящемуся ныне среди реликвий Священной Римской империи в Вене (и к его краковской «копии», некогда подаренной Оттоном III Болеславу Храброму). Многие историки с энтузиазмом чертили именно такую линию. Но была ли символика копья, как и символика подъема на щит, действительно «варварской», неримской, тем более «антиримской»?

В этом нет никакой уверенности. (Соответственно нет, кстати, уверенности и в том, что изъятие копья из инаугурационных ритуалов в Западной Европе при распространении в IX–X вв. франкских коронационных чинов следует трактовать как победу новой, христианизированной, символики над «германской архаикой».) Дело в том, что именно в символическом использовании копья позволительно заподозрить как раз проявление римского влияния на германцев². Ведь, как показал еще А. Альфёльди, копьё у римлян издревле служило символическим выражением особых полномочий его обладателя, знаком наличия у него власти³. Но отнюдь не у одних лишь древних римлян, добавим мы. Вспомним известное изображение византийского императора Василия II Болгаробойцы (976–1025) из рукописи, сделанной по его заказу и хранящейся ныне в Венеции (рис. 4). При том что сохранность миниатюры оставляет желать лучшего, на ней прекрасно видно, как один ангел возлагает на голову императора венец, а другой — влагает ему в десницу копьё. Тем самым копьё ставится в один ряд с короной в качестве символа, передающего

ном собрании: «Если мнение не нравится, его отвергают шумным ропотом, а если нравится, то потрясают копьями: восхвалять оружием является у них почетнейшим способом одобрения» (гл. XI), а другое к церемонии инициации: «Но у них не в обычае, чтобы кто-нибудь начал носить оружие раньше, чем племя признает его достойным этого. Тогда кто-нибудь из старейшин, или отец, или сородич в самом народном собрании вручает юноше щит и копьё; это у них заменяет тогу, это является первой почестью юношей: до этого они были членами семьи, теперь стали членами государства». (Перевод дается по изданию: Древние германцы. Сб. документов / Сост. Б. Н. Граков, С. П. Моравский и А. И. Неусыхин. М., 1937.)

¹См. о них прежде всего: Schramm P. E. Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. T. 2. Stuttgart, 1955 (MGH. Schriften, 13/2). S. 492–550.

²Deér J. Byzanz und die Herrschaftszeichen des Abendlandes // Byzantinische Zeitschrift. Jg. 50. 1957. S. 405–436, здесь S. 426–428; см. также переиздание: Idem. Byzanz und das abendländische Herrschertum / Hg. v. P. Classen. Sigmaringen, 1977. (Vorträge und Forschungen, 21). S. 42–69.

³Alföldi A. Hasta — summa Imperii. The Spear as Embodiment of Sovereignty in Rome // American Journal of Archaeology. 63, 1959. 1–27; Idem. Zum Speersymbol der Souveränität im Altertum // Festschrift Percy Ernst Schramm zu seinem siebzigsten Geburtstag von Schülern und Freunden zugeeignet. Bd. 1. Wiesbaden, 1964. S. 3–6.



Рис. 4

бог вдохновенный характер власти правителя. На мой взгляд, как копьё Хильдебранда, так и венское «Священное копьё» указывают исследователю символики власти не в сторону дремучих германских лесов, а в направлении Царьграда.

Конечно, копьё относится к числу таких «архетипических» предметов, которые могли включаться в инаугурационные церемонии самых разных сообществ, необязательно состоящих между собой в контакте. У нас нет оснований исключать саму возможность того, что некоторые вожди древних германцев и иных варваров получали при своем возвышении «особые» копьё. Однако даже механическое перенесение этой процедуры на римскую почву должно было начисто изменять смысл церемонии, включив ее в контекст римской имперской символики и подчинив ему.

Несколько сложнее обстоит дело с той функцией копьё, что получила в Средние века бурное развитие даже после того, как копьё перестало участвовать в коронационных ритуалах. Копьё и сменившее его в этом качестве знамя (ткань с эмблемой, прикрепленная к копьё) вручалось еще и в позднем Средневековье князьям при передаче им их владений. В раннем Средневековье при помощи копьё могли передавать и королевства. О таком обряде и его значении раньше всего рассказывает Григорий Турский: «Король Гунтрамн, вложив в руку короля Хильдеберта копьё, сказал: "Это означает, что я передал тебе все мое королевство. Теперь ступай и прими под свою власть все мои города, как свои собственные"»¹. Копьё как символ определенных земельных владений отличается от копьё как символа всеобщей власти (хотя смысловая связь между ними вполне могла существовать). Но и в этой, более приземленной, функции копьё использовались в Риме. Ведь *hasta* прямо связывалась у римлян с правом обладания землей (владеть ею может только правоспособный человек, то есть воин)². Трудность здесь заключается в том, что такие ассоциации прослеживаются в Риме в основном в архаические времена, и сложно судить о сохранении их и в поздней империи.

Вообще всякие поиски собственно *германских* инаугурационных ритуалов дают крайне мало сколько-нибудь надежных данных. Еще несколько десятилетий назад среди историков было немало «романтиков германизма» (самым ярким представителем которых был, пожалуй, О. Хёфлер), способных на глазах у изумленного читателя «сконструировать» из нескольких туманных древних свидетельств и более новых скандинавских памятников вполне впечатляющую

¹ Григорий Турский. История франков. VII, 33 (М., 1987. С. 209. — в переводе В. Д. Савуковой).

² Alföldi A. Zum Speersymbol... S. 5.

исконно-германскую архаику. Но при современном, более трезвом, взгляде от этих построений остается немного. В том, что касается ритуалов возвышения короля, вряд ли удастся обнаружить нечто большее, чем простое усаживание избранника на трон или какое-то его подобие¹. Более того, сомнение начинает вызывать и образ германского сакрального вождя-жреца, ответственного за процветание природы и сообщества, — образ, возникший у романтически настроенных историков второй половины XIX — начала XX в., оказавшихся чересчур восприимчивыми к этнологическим построениям Дж. Фрэзера². Впрочем, эта тема заслуживает отдельного обсуждения.

* * *

«Варварское» в облике «варварских королей» заключалось, похоже, не в создании комплекса средств репрезентации государя из самостоятельных «варварских» элементов, а в *варварской интерпретации* уже наличествовавших элементов римской (или, шире, средиземноморской) системы выражения образа власти. Государи варваров не настаивали на своем варварстве, напротив, они всячески старались предстать как можно более «римскими» на вид. Зато в неумелости их стараний и выступало отчетливо их варварство. Символом (но символом вполне материальным) такого варианта «синтеза» может, пожалуй, служить знаменитый мавзолей Теодориха Великого в Равенне — здание в высшей степени необычное (рис. 5). Очевидно, что оно не может иметь никаких корней в древнегерманских погребальных традициях. Мавзолей воспроизводит общую идею гробниц Августа и Адриана, но весьма причудливо ее видоизменяет. Чего стоит один «купол» с двенадцатью странными выступами по сторонам. По мнению специалистов, это завершение представляет собой сильно искаженное воспроизведение куполов константинопольских соборов³. Начертанные на выступах имена евангелистов и восьми апостолов явно сближают мавзолей с константинопольским храмом Св. Апостолов — усыпальницей Константина и его царственных преемников. Вместе с тем сам «купол» вытесан из единого куска камня — у этой монолитной плиты весом 300 тонн вообще нет соответствий в мировой архитектуре, кроме разве что дольменов. Разумеется, всегда хватало

¹ См., например: *Nelson J. L. Symbols In Context: Rulers' Inauguration Rituals In Byzantium and the West In the Early Middle Ages // The Orthodox Churches and the West / Ed. by D. Baker. Oxford, 1976 (Studies In Church History, 13) P. 97–119, здесь P. 102–103 с указанием некоторой литературы.*

² *Picard E. Germanisches Sakralkönigtum? Quellenkritische Studien zur Germania des Tacitus und zur altnordischen Überlieferung. Heidelberg, 1991.*

³ *Deichmann F. W. Ravenna: Hauptstadt des spätantiken Abendlandes. Bd. 1. Geschichte und Monumente. Wiesbaden, 1969. S. 213–219.*

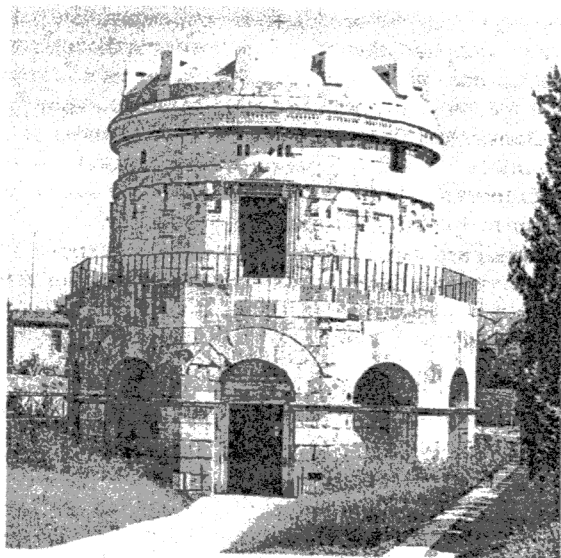


Рис. 5

историков, усматривавших «готские черты» то в технике обработки камня (ее якобы можно объяснить только привычкой к деревянному строительству), то в «типичной северной орнаментике» здания, а то даже в том, что «купол» якобы воспроизводит очертания готской походной палатки...¹ Но даже если какие-то из этих суждений справедливы, роль собственных «готских мотивов» в общем замысле здания оказывается сугубо второстепенной. Мавзолей выстроен явно на основе римской идеи, пускай и в ее варварской, весьма занятой, трактовке. Пускай последним местом упокоения короля варваров оказалась... ванна, но зато ванна эта все-таки была из порфира и формой напоминала саркофаг...

Было бы, конечно, неосторожностью заведомо исключать возможность наличия собственных символических систем власти у варварских народов до их соприкосновения с Римом, однако римская модель репрезентации вполне закономерно проявила свое подавляющее превосходство над ними. Верхушка варварских народов подвергалась романизации воистину стремительно. Еще Р. Томпсон продемонстри-

¹ Das Alte Rom: Geschichte und Kultur des Imperium Romanum / Hg. v. J. Martin. München, 1994. S. 92.

ровал на примере готов удивительную закономерность: едва ли не каждый их король чуть ли не в любую минуту был готов променять власть над своим беспокойным народом на хорошую пенсию от императора и тихую жизнь «по римским правилам» в уютном поместье где-нибудь в мирном уголке империи¹.

Темпы «бытовой» романизации варварских вождей воистину поражают, так же как и постоянство, с которым все новые и новые варвары вступали на один и тот же путь, следуя шаг за шагом вслед за своими предшественниками. Так, не успели авары сменить гуннов на равнинах Паннонии, как и они первым же делом поддались влиянию римской банной культуры. Вряд ли им удалось восстановить императорские бани в Сирмии, долгое время переходившем из рук в руки, но когда аварский каган в 583 г. взял Анхиал на берегу Черного моря (в окрестностях современного Бургаса), он первым делом приказал побережь там здание с горячими источниками. Как сообщал Феофилакт Симокатта: «До нас дошел слух, будто в этих банях мылись жены кагана и как плату за это просили не разрушать здания бань. Говорят, что эти воды были полезны для моющихся и содействовали их здоровью»².

В следующем веке римские бани завоюют сердца арабов так же, как в предыдущем завоевали сердца гуннов. Только учтя это магическое воздействие терм не только на тела, но и на души варваров, можно в полной мере оценить глубину религиозного чувства лангобардского короля Лиутпранда (712–744), совсем было собравшегося воздвигнуть в своем поместье под Павией королевские бани, но решившего после посещения гробницы св. Анастасия в Риме выстроить вместо них церковь в честь этого святого³. О том, что римские бани и в резиденциях варварских государей служили не только (а может, и не столько) гигиене, сколько в конечном счете репрезентативным целям, хорошо известно по хрестоматийному сообщению Эйнгарда о купаниях Карла Великого: «Он приглашал купаться не только сыновей, но и знать и друзей, а иногда даже свиту, телохранителей и охранников, так что иногда сто и более человек купались одновременно»⁴.

¹ Томпсон Э. А. Римляне и варвары. Падение Западной империи. М., 2003. С. 36–100.

² Феофилакт Симокатта. История. М., 1996. С. 15. (I, IV, 5). (Перевод С. П. Кондратьева.)

³ Об этом свидетельствует надпись из Кортеелона короля Лиутпранда: *Poeti Latini aevi Carolini*. [Т. 4]. Pars 1. München, 1978 (MGH. Antiquitates. *Poeti Latini medii aevi*, 4). P. 106.

⁴ Перевод М. С. Петровой (Историки эпохи Каролингов.... С. 25). В оригинале: «*Et non solum filios ad balneum, verum optimates et amicos, aliquando etiam satellitum et custodum corporis turbam invitavit, ita ut nonnumquam*

Романизация повседневной жизни властителя-варвара естественно должна была влечь за собой романизацию и его официального обличья. Тем не менее вопрос этим не исчерпывается. Дело в том, что и саму «бытовую романизацию» следует, вероятно, понимать как проявление более общего явления — кризиса варварского общества.

Говоря о рубеже античности и Средневековья, мы привыкли пользоваться выражением «кризис Римской империи», не обращая внимания на то, что племена варваров пережили в ходе «завоевания» римской державы куда более глубокий и разрушительный кризис, чем сама «завоеванная» империя. После пересечения имперской границы и расселения на римской территории их собственные традиционные культуры пережили такие трансформации, которые проще всего описать словом «распад». Разумеется, некоторые элементы социальной организации и особенно духовного мира варваров продолжали сохраняться на протяжении столетий, но это были именно осколки былой целостности. Едва ли не лучше всего историку заметны разломы традиционных моделей как раз в связи с переменами в положении вождя племени. Он внезапно оказывался перед необходимостью управлять пространными территориями, населенными по большей части римским или в той или иной степени романизированным населением, чужим ему и его народу как по языку, так обычно и по религии. Это население привыкло жить (а значит, и повиноваться властям) в условиях государственности, пускай и изрядно распатавшейся за времена бесконечных смут, то есть в условиях, о которых завоеватели имели весьма смутное представление. Бремя господства, легшее на плечи «завоевателей», оказалось настолько тяжким, что в конечном счете не только абсолютное большинство созданных ими королевств стремительно исчезло из истории, но даже и самые их этносы перестали существовать, оставив после себя на карте Европы разве что несколько дюжин характерных топонимов.

Вряд ли стоит описывать так называемое «возвышение» варварских вождей в духе старой исследовательской литературы — как результат собственной эволюции германских племен — их *внутреннего* имущественного и социального расслоения. Скорее ее стоит представлять в качестве драматического и вынужденного приспособления к внешним условиям, возникшим в ходе «завоевания», как ответ на импульсы, идущие прежде всего *извне* варварских сообществ, а не изнутри их. (Впрочем, и стремительность самой социальной дифференциации среди завоевателей тоже следует отнести к результатам не

centum vel eo amplius homines una lavarentur» (22). *Einhard*. Op. cit. P. 27. Не совсем понятно, где в этой фразе М. С. Петрова наряду с «телохранителями» обнаружила еще и «охранников».

«внутреннего вызревания» германских обществ, а к их неспособности противостоять воздействию со стороны «завоеванного» социума.)

Знаменитый анекдот о суассонской чаше — лишь одно из многих свидетельств о перегрузках, испытывавшихся обществом «варваров-завоевателей» на «завоеванной» ими земле. Конфликт между «традиционным» образом племенного вождя и «новым» образом варварского короля, правящего частью Римской империи, приводил к пролитию потоков крови. Тот «неразумный» франк, что сумел на собрании в Суассоне вернуть Хлодвига к соблюдению давних обычаев племени, вскоре поплатился за свой успех жизнью. Но он был лишь одной жертвой среди очень многих, вызванных общим кризисом оснований власти варварских вождей. Тут можно вспомнить и о том, как Хлодвиг вырезал свою (надо полагать довольно многочисленную) родню, очевидно, добываясь таким путем преобладания над франкской знатью, и о том, как германская знать в «варварских королевствах» то и дело расправлялась с собственными государями. Кресло короля отличалось удивительной шаткостью что у вандалов, что у готов, что у других «завоевателей». Ни в одном из «варварских королевств» власть «нового образца» не смогла приобрести стабильности, за единственным исключением франкской державы, если, конечно, факт сохранения короны в доме потомков Меровея при бесконечных изнурительных войнах между ними можно назвать стабильностью.

Стать государем варварского королевства на земле империи означало для счастливец вступить на неизведанный путь, начать труднейший эксперимент, ставкой в котором была его собственная жизнь, ради сохранения которой вполне естественно было лишить жизни сотни других людей. Давние племенные традиции не только не помогали смельчаку в новых условиях, но, напротив, мешали ему и даже представляли серьезную угрозу для него. Именно поэтому «новое качество» власти готов, вандалов или франков не могло быть символически выражено при помощи традиционных «германских» средств. Они просто не подходили к изменившимся обстоятельствам. И именно поэтому римская система репрезентации — единственная наличествовавшая *система* выражения того рода власти, которую мы называем государственной, — неизбежно должна была лечь в основу репрезентации варварских государей.

Подтверждения этому тезису не ограничиваются примерами, приведенными выше: они в немалом количестве разбросаны по источникам. Напомню некоторые из них.

В 604 г. двухлетнего Адальвальда¹, сына уже известного нам лангобардского короля Агилульфа, провозглашают королем и соправи-

¹ См. о нем прежде всего: *Schroth-Köhler Ch. Adalwald // Lexikon des Mittelalters. Bd. 1. München, 2002. Sp. 106.*

телем отца не где-нибудь, а в цирке Милана¹. Чтобы понять значение этого действия, необходимо вспомнить о сакральном значении для римлян цирковых представлений и о раннем соединении цирка с императорской резиденцией. Образец здесь, естественно, задавал Рим с его связкой *Circus Maximus* — Палатин, но историкам лучше всего известно, как «функционировал» в системе императорской власти Ипподром (по сути дела включенный в комплекс Большого дворца) в Новом Риме — Константинополе. Античный цирк в Милане локализуется хорошо, однако существуют разные версии того, где находился императорский дворец, поэтому настаивать на соединении цирка и дворца (теперь уже королевского) в Медиолане нельзя². Тем не менее

¹ *Paulus Diaconus*. Op. cit. P. 127: «Igitur sequenti aestate mense Iulio levatus est Adaloaldus rex super Langobardos apud Mediolanum in circo, in praesentia patris sui Agilulfi regis, adstantibus legatis Teudeperti regis Francorum, et sponsata est eidem regio puero filia regis Teudeperti, et firmata est pax perpetua cum Francis» (IV, 30).

² Впервые внимание на тесную связь между дворцом и цирком было обращено в оставшейся мне недоступной неопубликованной диссертации: *MacDonald W. L. The Hippodrome at Constantinople*. Diss. Ms. Cambridge, 1956. Затем это суждение было повторено в новаторской работе: *Cameron A. Circus Factions*. Oxford, 1976. P. 181. Гипотеза У. Л. Макдональда недавно подверглась серьезной проверке на топографическом материале разных императорских резиденций в: *Heucke C. Circus und Hippodrom als politischer Raum: Untersuchungen zum großen Hippodrom von Konstantinopel und zu entsprechenden Anlagen in spätantiken Kaiserresidenzen*. Hildesheim; Zürich; NY, 1994 (*Altertumswissenschaftliche Texte und Studien*, 28). К. Хойке трезво указывает на то, что в целом ряде случаев (Никомедия, Трир, Антиохия, Милан и др.) историки просто не располагают необходимым набором сведений, чтобы подтвердить или опровергнуть идею У. Л. Макдональда. Однако пытаться отрицать связь между дворцом и цирком в Риме и Константинополе было бы, разумеется, крайне затруднительно. Самый же яркий, пожалуй, пример представляет собой вилла Максенция, связывающая в единый комплекс дворцовое помещение, мавзолей и небольшой (примерно на 10 тыс. человек) цирк. Подробно о ней см.: *Rasch J. J. Das Maxentius-Mausoleum an der Via Appia in Rom*. Mainz, 1984 (*Spätantike Zentralbauten in Rom und Latium*, 1). В цирке реконструируется императорская ложа (аналог константинопольской кафизмы), в которую прямо из дворца вел поднятый над уровнем земли переход (деталь уникальная, в столичных городах несохранившаяся). *Humphrey J. H. Roman Circuses. Arenas for Chariot Racing*. Lnd, 1986. P. 586, 597–598, 600. (Последняя работа хороша подробным описанием технического устройства цирков, находящихся как при резиденциях, так и в стороне от них, однако, скажем, константинопольскими ипподромами автор не занимается.) В изучение большого константинопольского Ипподрома самый большой вклад внесли французские и русские историки, хотя излюбленная ими тема цирковых партий для наших целей представляет мало интереса. Историографический обзор см. в: *Heucke C. Op. cit. S. 7–35*.

провозглашение соправителя в цирке — действие, выглядевшее в начале VII в. очень «по-константинопольски» — совпадение, которое вряд ли можно списать на случайность¹.

Сказанное не означает еще, разумеется, что всех лангобардских королей представляли «народу» в римском цирке. Но даже если рассматривать событие 604 г. как уникальный случай², это исключение все равно полезно для историка. Предположив, что Агилульф сознательно отошел от лангобардской традиции провозглашения королей (хотя мы не знаем, где именно *apud Mediolanum* провозгласили его самого — не в том же самом ли цирке?), он должен был так поступить в связи с одним обстоятельством, особо отмеченным Павлом Диаконом. Провозглашение младенца Адальвальда происходило в присутствии посланцев франкского короля. При этом тут же было объявлено о женитьбе Адальвальда на дочери государя франков и о заключении мира между франками и лангобардами³. Даже если сцена в цирке была совсем необычной для лангобардов, трудно усомниться в том, что причина такого исключения состояла именно в прибытии к лангобардскому двору франкских послов. И тут-то сама собой напрашивается параллель с аудиенциями у Теодориха II: чем больше присутствует «чужих», тем более «римским» оказывается антураж варварского государя. Римские репрезентативные приемы опять предстают в качестве средства символического общения варварских государей не только с завоеванным римским населением, но и с другими варварскими государями: римская символика предстает тем самым в качестве понятного всем в ойкумене койне власти.

Лангобардов, как и вандалов, относят к числу тех варваров, которые (в отличие от готов или франков) с самого начала были настроены к имперскому правительству враждебно, в чем они, надо сказать, пользовались полной взаимностью со стороны Константинополя⁴. Неудивительно, что для нас здесь особенно ценны примеры романизации образов государей именно этих двух народов. В случае с повелителями лангобардов нам относительно хорошо известен итог эволюции их системы репрезентации к VIII в., когда Карл Великий подчинил себе

¹ Такое же мнение высказано в: *Ward-Perkins B. From Classical Antiquity to the Middle Ages: Urban Public Buildings in Northern and Central Italy AD 300–850.* Oxford, 1984. P. 169.

² См. такое мнение в: *Menghin W. Op. cit. S. 148.*

³ *Ibid.*

⁴ О том, что именно у лангобардов «*imitatio imperii*» было выражено намного слабее, чем в любом другом германском обществе, см.: *Chrysos E. Byzantine Diplomacy, A. D. 300–800: Means and Ends // Byzantine Diplomacy / Ed. by J. Shepard and S. Franklin. Aldershot, 1992. P. 36.*

их королевство. Не отвлекаясь на детали, этот итог можно представить двумя памятниками. Первый из них — уже упоминавшийся дворец в Монце, представлявший собой, по мнению специалистов, вариацию на тему дворцового комплекса в Хебдомоне под Константинополем (воспроизведен даже патроний придворной церкви: и в Хебдомоне и в Монце храмы посвящены Иоанну Крестителю)¹. Второй сохранился и сегодня — это придворная церковь беневентского герцога Архиза II (758—787), посвященная... св. Софии². Причем неподалеку от этого храма в Беневенте были воздвигнуты Золотые ворота...³

Сходный же путь проделали, судя по всему, все варварские королевства (разумеется, если они успели его проделать, а не были рано уничтожены, как королевство вандалов). Более того, историческая память «подправила» соответствующим образом облик даже правителей, не успевших романизироваться при жизни. Так, Агнелл Равеннский представлял себе Аттилу в соответствии с принятым в его время стереотипом правителя — одетым в пурпурно-золотой наряд, то есть по образцу византийского императора⁴.

Возникновению такого образа варварского государя в воображении сочинителя предшествовали реальные перемены в репрезентативной практике государей варваров. Остготы переняли римские репрезентативные правила самое позднее при Теодорихе Великом⁵, вестготы — только при Леовигильде и окончательно при Реккесвинте, надевшем в 630 г. византийское (то есть пурпурно-золотое, как у Аттилы в фантазиях Агнелла) платье. У франков процесс рецепции занял триста лет: он шел с 508 г. года, когда Хлодвиг, получив из Константинополя кодициллы с назначением на должность консула и окрашенное пурпуром «служебное» платье, явился своим поданным в обличье римского консула и разбрасывал деньги, как и положено в

¹ McCormick M: *Eternal Victory: Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium and the Early Medieval West*. Cambridge; P., 1987. P. 289 — с указанием соответствующей литературы.

² Belting H. *Studien zum Beneventanischen Hof im 8. Jahrhundert // Dumbarton Oaks Papers* 16. 1962. P. 143–193 с иллюстрациями. О церкви Св. Софии см. с. 175–193 с указанием литературы и различных точек зрения на происхождение как патрония, так архитектурных форм и функционального использования храма.

³ Золотые ворота упоминаются примерно в 752–756 гг. в одном беневентском акте. McCormick M. *Op. cit.* P. 289, особенно сноска 139.

⁴ «Igitur sedente rege in regali solio, vestimenta auro textilis purpura indutus» — Agnelli *Op. cit.* P. 299–302 (cap. 37).

⁵ Разнообразный материал, связанный с так называемом «теодориканским возрождением», настолько богат и столь хорошо известен, что нет необходимости воспроизводить его еще и в настоящей статье.

processus consularis¹, до 800 г., когда франкский король Карл Великий сам был провозглашен императором...

В VII книге «Историй против язычников» Павла Орозия историку в первый раз попадаете указание на наличие некоей политической идеи у варварского вождя². Речь здесь идет о короле вестготов Атаульфе, преемнике Алариха, взявшего Рим в 410 г. Павел Орозий со ссылками на якобы надежные свидетельства изображает Атаульфа колеблющимся между двумя «концепциями» собственного правления — между Gothia и Romania³. Ранее Атаульф якобы стремился к тому, чтобы заменить Римскую империю Готской, а самому стать тем, кем ранее был Цезарь Август, предав забвению даже имя римлян. Однако богатый опыт убедил его в том, что, с одной стороны, готы никогда не будут подчиняться законам из-за их варварской необузданности, а с другой, что законы не следует упразднить, ибо без них государство (respublica) — не государство. В итоге Атаульфом овладело желание заслужить у потомков славу человека, восстановившего и даже расширившего Римскую империю. Вследствие такого сдвига в сознании он и женился на дочери императора Феодосия Галле Плацидии, причем (как мы знаем из другого источника) предстал в Нарбонне на свадьбе с ней в 414 г. в костюме римского полководца,

¹ В переводе В. Д. Савуковой сообщение об этом событии звучит так: «И вот Хлодвиг получил от императора Анастасия грамоту о присвоении ему титула консула, и в базилике святого Мартина его облачили в пурпурную тунику и мантию, а на голову возложили венец. Затем король сел на коня и на своем пути от двери притвора базилики до городской церкви с исключительной щедростью собственноручно разбрасывал золото и серебро собравшемуся народу. И с этого дня он именовался консулом или Августом» — приводится по изданию: *Григорий Турский. История франков*. М., 1987. С. 57. (II, 38) См. о смысле этого эпизода прежде всего: *McCormick M. Clovis at Tours: Byzantine Public Ritual and the Origins of Medieval Ruler Symbolism // Das Reich und die Barbaren / Hg. v. E. Chrysos und A. Schwarz*. Wien, 1989. P. 155–180; *Deér J.* Op. cit. особенно S. 46 по изданию Классена.

² Такая оценка этого места приводится, например, в работе: *Reydellet M. La royauté dans littérature latine de Sidone Apollinaire a Isidore de Séville*. P., 1981. P. 46.

³ *Paulus Orosius. Historiarum adversum paganos libri VII / Rec. K. Zange-meister*. Hildesheim, 1967. P. 560: «...se inprimis ardentier inhiasse, ut obliterato Romano nomine Romanum omne solum Gothorum imperium et faceret et uocaret essetque, ut uulgariter loquar, Gothia quod Romania fuisset et fieret nunc Athaulfus quod quondam Caesar Augustus...» (VII, 43).

тем самым символически обозначив свое вхождение в имперскую систему власти и подчинения.

Конечно, «политическая концепция» Атаульфа изложена у Орозия в понятиях, которые могли прийти в голову лишь римлянину, да к тому же неплохо образованному, но отнюдь не варвару. Тем не менее написано немало исследований, авторы которых пытаются выяснять, как именно Атаульф представлял свою «Готию», почему и ради чего он от нее отказался¹. Трудно избавиться от подозрения, что альтернатива «Gothia — Romania» была риторическим выражением не столько политических установок германского вождя, сколько страхов римских интеллектуалов. И все же, если допустить, что в этой формулировке отражаются, пускай и в сильно измененном виде, идеи короля германцев (наверняка сами по себе весьма смутные), в ней можно было бы увидеть емкий ответ на центральный вопрос этой статьи. Конфликт между двумя символическими системами выражения власти — «варварской» и «имперской» на самом деле носит столь же академически-отвлеченный характер, сколь и альтернатива «Готия» — «Романия». Подобно тому как «Готия» не смогла вытеснить «Романию» даже из воображения готского вождя, варварская символика за некоторыми исключениями не имела шансов заменить собой символику римскую. Подлинная власть — даже с точки зрения варвара — это власть римская, а потому и выглядеть ей положено по-римски.

На вопрос, поставленный в заголовке этой работы, можно ответить так. Если среди варварских вождей, подошедших во главе своих народов к укреплениям лимеса, и оставались замшелые консерваторы, все еще одевавшиеся в живописные, но архаические меха, то даже они, вступив на территорию империи, рано или поздно переодевались в пурпур и золоченые «паволоки». Вот только носили они эти свои новые пурпурные и златотканые плащи и туники, должно быть, так, что каждому римлянину было видно: меха им были бы куда более к лицу.

* * *

На основе описания Сидонием Аполлинарием короля вестготов Теодориха II и ряда других источников показывается, что системы репрезентации власти государей «варварских королевств» V–VII вв. выстраивались преимущественно по имперским образцам. Короли

¹Основная литература о «противопоставлении концепций» «Романии» и «Готии» см. в: *Reydellet M. Op. cit. P. 560.*

готов, лангобардов и, очевидно, также других племен подражали в своем «официальном» облике либо римским императорам, либо же римским полководцам и магистратам. Если у древних германцев и существовали некогда собственные символические системы власти, они были практически полностью подавлены римской системой символической репрезентации после расселения племен по территории римской державы. «Варварство» в обличьях варварских королей состояло не в использовании неких традиционных «германских» инсигний, церемоний и т. п., а в «варварской интерпретации» римско-константинопольских образцов.